

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

**ВРЕМЕННОК
ПУШКИНСКОЙ
КОМИССИИ**

Выпуск 32

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ



Санкт-Петербург
«Росток»
2016

УДК 821.161.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
В81

Редакционная коллегия:
А. Ю. Балакин (*ответственный редактор*),
М. Н. Виролайнен, Н. Г. Охотин

Рецензенты:
Е. Н. Григорьева, В. А. Мильчина

ISBN 978-5-94668-207-7



© Авторы статей, 2016
© Пушкинская комиссия РАН, 2016

нет. Во всяком случае, нелепости исторического анахронизма он точно не замечал.³² Последнее тем более справедливо, если вспомнить, с каким азартом автор «Скупого рыцаря» указывал на исторические несообразности в сочинениях Загоскина, Бестужева или Рылеева.

Виталий Симанков

³² Ср. слова самого Пушкина по другому поводу: «Сколько несообразностей, ненужных мелочей, важных упущений! сколько изысканности! а сверх всего, как мало жизни! Однако ж сии бледные произведения читаются в Европе. Потому ли, что люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени и, следовательно, не в состоянии заметить нелепости романтических анахронизмов?» (XI, 92).

ПУШКИН, БАРОН БРАМБЕУС И «ПОЛЯЧКА МЛАДАЯ»

Через три месяца после гибели Пушкина в «Библиотеке для чтения» (1837. № 5. Отд. I. С. 65–96) появился фельетон «Первое письмо трех тверских помещиков к Барону Брамбеусу». Посвящен он был начатой за несколько лет до того редактором журнала О. И. Сенковским борьбе с элементами церковно-книжного языка в языке литературы. Эта борьба скоро свелась к нападкам на местоимения *сей*, *оный*, *кои* и т. д., которые трактовались им как «канцеляризмы». Как и в других полемических случаях, Сенковский выступал под литературной маской Барона Брамбеуса.

До рассвета поднявшись, перо очинил
Нечестивый Брамбеус барон.
И чернил не щадил — *сих* и *оных* бранил —
До полудня без отдыха он...¹

За нападками Барона Брамбеуса на «*сих* и *оных*» стояла определенная языковая программа: Сенковский считал, что стилистическим фундаментом литературной речи должна стать светская «разговорность», равно чуждая и книжно-славянской традиции, и народному просторечию, но применяющаяся к языковым вкусам

¹ Бахтурин К. П. Барон Брамбеус // Эпиграмма и сатира: Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 320.

образованного провинциального дворянства и городского чиновничества (именно этим сословным группам русского общества и адресовался редактируемый им журнал).

Маска Барона Брамбеуса, которой Сенковский «поручил» решение проблемы «*сих и оных*», предполагала создание «игровой» ситуации. В интересующем нас «Письме...» эта игра реализуется весьма причудливо. Три помещика из недалекой русской провинции (Николай Заезжаев, Петр Закусаев, Иван Мухоловкин) сообщают о себе: «...живем подле шоссе, ведущего из Петербурга в Москву, на самом *перепутии* идей, проезжающих туда и обратно по этой дороге».² Оказавшись, таким образом, в центре умственной жизни двух российских столиц, помещики желают познакомиться с лидером этой умственной жизни, Бароном Брамбеусом, в реальности которого сомневаются («не миф ли вы сами?» — 202), но которого величают вполне в русских традициях: «Милостивый государь, барон Степан Кириллович!» (200).

Они желают поговорить с Бароном о двух предметах, «только не знаем об чем — о русском ли языке или о гомеопатии?»³. Разговор «о гомеопатии», которая «переводит наш умный тверской народ и причиняет много существенного вреда нашим уездным лекарям» (200), — проблема вполне «брамбеусовская» — откладывается до другого раза: «первое место» занимают вопросы литературного языка.

В решение этих животрепещущих проблем включаются кроме трех помещиков образованные уездные интеллигенты: стационарный зритель «почтеннейший Ларивон Ильич» (который, «по обязанности зрителя», читает все приходящие на почту новейшие журналы и лучше всех разбирается в литературных «авторитетах») и «отец Паисий, наш почтенный приходский священник» (который читает перед рюмочкой настойки ученую лекцию, ратуя за то, что русской словесности нужно «отделиться от славящины совершенно» — 225). Словом, на защиту русского языка от «*сих и оных*» встает «Тверская губерния, *то есть* вся Россия, с своим удивительным здравым смыслом и инстинктом красот своей природной речи» (210).

Образованные и здравомыслящие тверские помещики, представители «всей России», разнообразно аргументируют свою позицию и ссылаются на многочисленные авторитеты. Тут и «некоторый немец, по имени Иоганн, по прозванию Гёте», и «другой немец, по имени Лейбниц» (212), и «Скалигер и Генрих Стефан» (227), и Ло-

² Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1859. Т. 8. С. 200; курсив наш. — В. К. Далее ссылки на этот том приводятся в тексте с указанием страниц.

моносов (223). В финале рассуждений «отца Паисия» возникает недавно умерший Пушкин — в трех непривычных идейных и житейских контекстах.

1. Барон Брамбеус — впервые в русской критике — объявляет Пушкина «истинным реформатором» русского литературного языка, символом некоего «переворота»: «Переворот в языке был приготовлен заранее. Со времени Державина стал уже язык русской словесности более или менее робкими шагами приближаться к живому русскому языку и стряхивать с себя ложные украшения славянизма. Батюшков, Карамзин, Жуковский подвинули необходимое преобразование еще далее. Явился Пушкин, и могуществом своего гения вдруг перенес в поэзию подлинный русский язык со всею его жизнью. Что сделал Пушкин для поэзии, то ранее или позже должно было случиться с прозою, в которой, как не в своей части, он сохранял предрассудки своих учителей; и то, что нынче происходит в языке, есть только следствие и неизбежное дополнение пушкинской реформы в поэзии. Пушкин, одаренный чрезвычайно тонким вкусом, в точности следовал, относительно стихотворного языка, системе, которую теперь, неизвестно почему, называют по всему петербургскому тракту системой Брамбеуса» (232—233).

2. Тут же уточняется: этот «переворот», произведенный Пушкиным, не является «окончательным» — если представить развитие русского языка как живого организма: «Ломоносов, Фонвизин, Державин, Озеров, Пушкин — ведь это совершенно различные диалекты русского языка! Озеров и Пушкин были — кто бы это подумал — современники! Между тем подумай, что они писали на языках двух отдаленных народов; и едва Пушкин прошел четверть своего поприща, Озеров стал уже дик и нестерпим. А между тем настоящий русский язык, тот, которым говорят люди хорошего общества, не изменялся нисколько от Ломоносова до Марлинского! Батюшков, Карамзин устарели в несколько лет. Пушкин, сам Пушкин тоже скоро устареет, хоть ему суждено долее других быть свежим. Кто из пламенных любителей русской славы не пожалеет о такой ужасной судьбе наших талантов!» (224—225).

3. Наконец, от имени «отца Паисия» воспроизводится странный «мемуар» — тоже фактически первое из опубликованных воспоминаний о Пушкине и пушкинских «разговорах»: «Вы нигде не найдете у Пушкина в его стихах ни *коего*, ни *ибо*, ни *такового*, ни чего-либо подобного: по крайней мере, я не помню. Вы скажете, что у него иногда попадаются *сей*, *младой*, *злато* и прочая; но я осмелюсь доложить вам об одном случае, которого я был свидетелем. Будучи в Петербурге, я посетил одного литератора и застал у него

Пушкина. Поэт читал ему свою балладу “Будрыс и его сыновья”. Хозяин чрезвычайно хвалил этот прекрасный перевод. “Я принимаю похвалу вашу, — сказал Пушкин, — за простой комплимент. Я не доволен этими стихами. Тут есть многие недостатки”. — Например? — “Например, Полячка *младая*”. — Так что ж? — “Это небрежность, надобно было сказать *молодая*, но я поленился переделать три стиха для одного слова”. Но хозяин утверждал, что это прекрасно. Пушкин никак с ним не соглашался и ушел, уверяя, что все подобные отступления от настоящего русского языка “лежат у него на совести”. Следственно, наш великий поэт — Господи, упокой душу его! — чувствовал, что они противны началам чистого вкуса, и сам признавал их погрешностями. И следственно, поэты его школы, которые позволяют себе такие же отступления, опираясь на авторитет Пушкина, подражают только его небрежностям» (233–234).

Первые два из приведенных упоминаний Пушкина касаются лингвистических установок Сенковского, охарактеризованных еще В. В. Виноградовым в капитальном исследовании «Язык Пушкина»: «О. И. Сенковский, стремясь к преобразованию литературного языка на основе речевого быта буржуазно-дворянского салона, применяясь к лингвистическим вкусам провинциального дворянства, разных слоев чиновничества, разночинной интеллигенции и промышленной буржуазии, в принципе примыкает к той традиции дворянского прозаического стиля, которая сближала язык литературы со стилями светского бытового повествования. Но Сенковский помещал почти в один ряд такие разнородные явления, как язык Пушкина, Погорельского и язык Загоскина и даже язык Марлинского. Эта свобода стилистического объединения, эта широта литературного признания, своеобразный языковой эклектизм указывают на то, что пушкинский прозаический язык в его разнообразных жанровых вариациях Сенковского не мог вполне удовлетворить как норма стилей литературной речи. Так и было. Пушкинский язык — вне круга “светской”, “салонной” повести — казался Сенковскому недостаточно разговорным, запутавшимся в плену традиционно-литературной книжности. <...> Сенковский понимал свою литературно-языковую задачу как творчество новой системы литературного языка на основе многообразия разговорных стилей “светского”, т. е. буржуазно-дворянского, общества, приобщенных к западноевропейской мысли, украшенных блеском салонного остроумия и наделенных звучностью и красноречием литературной фразеологии».³

³ Виноградов В. В. Язык Пушкина. 2-е изд. М., 2000. С. 372–373.

Третье — мемуарное — упоминание гораздо многосмысленнее и требует самого детального рассмотрения. Оно не прошло мимо исследователей Пушкина: уже С. Я. Гессен и Л. Б. Модзалевский поместили его в свое издание «Разговоры Пушкина»⁴ — там этот «разговор» был датирован концом 1833 — началом 1834 г. (поскольку баллада «Будрыс и его сыновья» была завершена 28 октября 1833 г., а опубликована во 2-й книжке «Библиотеки для чтения», вышедшей 1 марта 1834 г.). Н. А. Тархова, составитель «Летописи жизни и творчества Пушкина», локализовала его «январем — февралем 1834 г.» и представила следующим образом: «Пушкин читает на вечере у одного литератора (возможно, Греча) балладу “Будрыс и его сыновья”. Бывший на вечере тверской помещик вспоминал позже, как в разговоре с Сенковским, восхитившимся “прекрасным переводом”, Пушкин говорил, что недоволен строкой “полячка младая”, считая ее “небрежной”».⁵

Составитель «Летописи» конструирует явно неправдоподобную ситуацию. Пушкин читает в литературном кружке (на «четверге Н. И. Греча») еще не публиковавшуюся балладу и «в разговоре с Сенковским» (да еще в присутствии некоего «тверского помещика» — если точнее, то «отца Паисия», духовного лица, неизвестно зачем присутствующего на таком вечере) признает свой перевод «неудачным» и «небрежным»... Зачем же он тогда его публично читал? И чем именно «небрежно» выражение «полячка младая»?

Конечно же, «воспоминание», приведенное Бароном Брамбеусом в своем игровом «Письме трех тверских помещиков...», имеет под собой реальную основу — но его ни в коем случае нельзя представлять этаким чисто «документальным» свидетельством, свободным от «игрового» начала.

Прежде всего, это «воспоминание» — свидетельство активного сотрудничества Пушкина с редактируемой Сенковским «Библиотекой для чтения». В первые два года существования популярнейшего в России журнала Пушкин помещал в нем почти все новые произведения. Здесь были напечатаны: «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (1834. Т. 2, № 2), «Сказка о золотом петушке» (1835. Т. 9, № 4), «Сказка о рыбаке и рыбке» (1835. Т. 10, № 5), баллады «Гусар» (1834. Т. 1, № 1), «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» (1834. Т. 2, № 3), «Песни западных славян» (1835. Т. 8, № 2; Т. 9, № 3), стихотворения «Красавица» («Все в ней

⁴ Разговоры Пушкина / Сост. С. Я. Гессен и Л. Б. Модзалевский. М., 1929. С. 206–207.

⁵ Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина: В 4 т. М., 1999. Т. 4. С. 145.

гармония, все диво...») (1834. Т. 3, № 5), «Подражания древним» («Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают...» и «Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров...») (1834. Т. 5, № 8), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...») (1834. Т. 6, № 10), вступление к поэме «Медный всадник» под заглавием: «Петербург. Отрывок из поэмы» (1834. Т. 7, № 12), повести «Пиковая дама» (1834. Т. 2, № 3) и «Кирджали» (1834. Т. 7, № 12), два документа из примечаний к «Истории Пугачевского бунта» под заглавием: «Два любопытные документа о Пугачеве» (1834. Т. 7, № 11). В этот период Пушкин поместил в другом издании — враждебном «Библиотеке...» журнале «Московский наблюдатель» — лишь одно стихотворение: «Туча» (1835. Ч. 2, кн. 2).

При этом необходимо учесть, что Пушкин, вступая в отношения с редактором «Библиотеки...», не мог быть доволен его редакторскими приемами: Сенковский, обеспечивая стилистическое и идейное единство журнала, позволял себе вмешиваться в текст присылаемых материалов. Л. С. Сидяков, говоря о пушкинских сказках, первоначально напечатанных в «Библиотеке...» и затем вошедших в четвертую часть «Стихотворений Александра Пушкина», заметил, что их текст, помещенный в «Стихотворениях...», «разительно отличается от того, который был опубликован в журнале. Обнаруживаются в нем и некоторые недочеты, свидетельствующие о небрежности корректуры сборника, не досмотревшей ряда досадных опечаток. <...> Правда, Сенковский, как правило, избегал применять свои редакторские приемы к произведениям Пушкина; однако, не вмешиваясь в содержание пушкинских произведений и не производя в них обычных для него произвольных сокращений или композиционных перестановок, он все же не смог удержаться от довольно заметных вторжений в представленный Пушкиным текст его сказок».⁶

Это как будто касается и «вспомянутой» баллады «Будрыс и его сыновья».

В начале 1834 г., когда Пушкин передал балладу в «Библиотеку для чтения», отношения между ним и Сенковским были еще достаточно теплыми. Об этом можно судить хотя бы по сохранившемуся письму того времени редактора журнала к поэту (XV, 109–111). Сенковский благодарит его за повесть «Пиковая дама», особенно отмечая ее «вполне обработанный» язык: «Вот как нужно писать повести по-русски!» А поскольку «Пиковая дама» и переводы баллад А. Мицкевича «Будрыс...» и «Воевода» были напечатаны в од-

⁶ Сидяков Л. С. Прижизненный свод пушкинской поэзии // Стихотворения Александра Пушкина. СПб., 1997. С. 447. (Литературные памятники).

ном, мартовском, номере «Библиотеки...», то мы вправе предположить, что в тот же период могла состояться личная встреча автора и редактора, во время которой зашел и разговор об этих балладах. Такой разговор был тем более вероятен, что Сенковский был поляк («литвин») и давний знакомый (еще по Виленскому университету) Мицкевича.

Оба упомянутых пушкинских перевода баллад Мицкевича в беловых рукописях помечены одинаковой датой: «28 окт<ября> 1833. Болд<ино>» (III, 903, 912). Оба в беловых «болдинских» автографах имеют заглавия, отличные от тех, с которыми предстали в журнале: «Будрышь (из Мицкевича)» (III, 901) и «Czaty (Подражание Мицкевичу)» (III, 911). В журнальном тексте они, соответственно, озаглавлены: «Будрыс и его сыновья. Литовская баллада (из М—а)» (III, 903) и «Воевода. Польская баллада (из М—а)» (III, 912). Пушкинское «различение» двух текстов понятно: указание на то, что «Воевода» — не «перевод», а «подражание», подчеркивает допущенную в данном случае «вольность» переложения оригинала. Но почему Сенковский разделил две рядом стоящие баллады одного поэта на «польскую» и «литовскую»?⁷

Подзаголовки, указывавшие на «национальную» принадлежность источников, запутывали читателя и не соответствовали истине (тем более что «Czaty» («Засада») в оригинале Мицкевича имело подзаголовок «Украинская баллада»). Это было, несомненно, вмешательство редактора «Библиотеки для чтения» — не случайно же Пушкин снял оба подзаголовка (и указание на переводной характер произведений), когда включил «Будрыса...» и «Воеводу» в четвертую часть «Стихотворений Александра Пушкина».

Обе баллады в польском источнике написаны четырнадцатисложным стихом, близким к анапесту. Но если для «Trzech Budrysów» Пушкин нашел адекватный польскому звучанию размер (трех- и четырехстопный анапест с женскими окончаниями рифм и внутренней рифмой в середине стиха), то балладу «Czaty» предпочел переложить четырехстопным хореем, размером не польского, а русского песенного фольклора. В середине 1840-х гг. А. А. Фет при переводе той же «Czaty» «размером подлинника» избрал тот же стихотворный размер, который Пушкин нашел для «Будрыса...».⁷

Для Пушкина в данном случае было важным продемонстрировать соотношенность представляемых текстов не столько с конкретным национальным фольклором, сколько с фольклорным мышле-

⁷ См.: Фет А. А. Собр. соч. СПб., 2002. Т. 1. С. 101–103. В этом переводе баллада названа «Дозор».

нием вообще. Оно, в принципе, одинаково у русских и у поляков. Чем отличается сравнение Мицкевича (при описании красоты «польской девицы») «lice bilsze od mleka» («лицо белее молока») от пушкинского эквивалента: «а бела, что сметана»? Тип фольклорного мышления одинаков в передаче русского и польского поэтов.

Пушкин не мог быть недоволен выражением «*полячка младая*», которое повторяется в «Будрысе...» несколько раз. «Я поленился переделать три стиха для одного слова» — так передает его фразу Барон Брамбеус. Но нужна ли была такая «переделка»?

В «болдинской» белой рукописи «Будрыса...» сохранились варианты эпитета «младая» и в «полногласном» великорусском звучании: «Нет, полячка, отец, *молодая*»; «Нет, полячка, жена *молодая*» (III, 903). Пушкин зачеркнул первые пришедшие ему в голову полногласные варианты этого слова именно потому, что они не соответствовали фольклорной стилистике. «Полячка младая» появилась в тексте после серьезного размышления. Сыновья Будрыса на вопрос отца отвечают, что привезли такую «польскую девицу», которая может называться «*молодицей*» (именно так называется в «Сказке о мертвой царевне...» молодая жена, которая собирается «на девичник», — III, 543). А этому русскому слову соответствовали в польско-русском словаре М. С. Б. Линде (имевшемся в пушкинской библиотеке) выражения «*pani mloda*» или «*panna mloda*»⁸ — непременно с прилагательным! То выражение, которое кажется редактору «небрежностью», по существу становится плодом упорного поэтического творчества. Пушкин ярко «играет» с удачно найденной русской словесной конструкцией, фонетически созвучной с польским источником.

Иными словами, приведенное Бароном Брамбеусом «воспоминание» о Пушкине никоим образом не отражает действительного пушкинского «разговора». Оно лишний раз демонстрирует ущербную однозначность «лингвистических» размышлений самого Сенковского, для которого такие слова, «как *сей, кой, молодой, златой*» — не иное что, как «мертвые формы, слова, взятые без нужды из какого-нибудь старинного языка» (229). Он не способен даже представить себе контекста, в котором такие «мертвые формы» могут наполниться вполне «живым» внутренним смыслом и звучанием.

Но за этим «разговором» стоит нечто действительно произошедшее. Отголоски какой-то беседы Пушкина и Сенковского находим в известных воспоминаниях В. П. Бурнашева, характеризовав-

⁸ Linde M. S. B. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1809. T. 2. S. 624, 625.

шего «четверги у Н. И. Греча». Мемуары Бурнашева тоже далеки от достоверности: одновременные события (а он, по собственному признанию, присутствовал едва ли не «на трехстах» греческих «четвергах») в них явно «смешаны» в единой описываемой картине. Но здесь как раз тот случай, когда одни «недостоверные» воспоминания могут корректировать «недостоверность» других.

У Бурнашева как будто представлен один греческий «четверг» зимы — весны 1834 г., картинно описаны посетители. Сенковский, «курящий что-то вроде наргилэ из довольно тонкого и длинного чубука розового дерева», одетый в «зелено-коричневый фрак с золотыми пуговицами, пестрый шалевый жилет и светло-гороховые брюки» и оживленно беседующий о чем-то с Ф. В. Булгариным «польски».⁹

Греч сообщает о скором приходе «знаменитого и драгоценного гостя Александра Сергеевича Пушкина». Булгарин собирается уехать — а «прославившийся уже своим печатным гаерством в эту пору Барон Брамбеус с злою усмешкою, но решительно сказал, что ему нечего *бегать* от Пушкина и что, напротив, он рад его видеть, потому что ему надо с ним перекинуть несколько слов насчет одного его стихотворения, которое Смирдину, во что бы то ни стало, хочется “сдур” приобрести для журнала».¹⁰ Приходит Пушкин; через какое-то время заговаривает с Сенковским по-французски — «и они удалились в один уголок за плюшевым трельяжем для интимного разговора».¹¹

За циничной фразой Сенковского, приведенной Бурнашевым, скрывалась весьма интересная ситуация. Пушкин после женитьбы испытывал значительные материальные затруднения и оказался вынужденным зарабатывать деньги своей «торговлей стишистой». Не вполне доверяя объявленному «направлению» «Библиотеки для чтения», он сотрудничал с журналом по коммерческим соображениям. Дело в том, что в «Библиотеке для чтения» впервые в России была введена фиксированная полистная оплата, причем наиболее популярным авторам платили значительно больше, чем всем остальным (по тысяче рублей только за право внесения их в список постоянных сотрудников!). При этом Пушкин предпочитал отдавать новые произведения не в редакцию журнала, а «напрямую» его издателю А. Ф. Смирдину, человеку доброму и щедрому, хотя и не

⁹ Б<урнашев> В. Из воспоминаний петербургского старожила // Заря. 1871. № 4. С. 18.

¹⁰ Там же. С. 23.

¹¹ Там же. С. 26.

великому знатоку литературы. Смирдин передавал новые сочинения знаменитого поэта Сенковскому — и тот включал их в новые журнальные номера, поскольку они повышали тираж журнала...

В полемике вокруг «Библиотеки...» Пушкин участия не принимал, но в конце концов решил рискнуть и издавать собственный «ежеквартальник», который бы адресовался иному кругу читателей, чем «толстый» ежемесячник Смирдина—Сенковского. Известно рассуждение его в письме к П. В. Нащокину от середины января 1836 г.: «Денежные мои обстоятельства плохи — я принужден был приняться за журнал. Не ведаю, как еще пойдет. Смирдин уже предлагает мне 15 000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его “Библиотеки”. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться. Сенковский такая бестия, а Смирдин такая дура — что с ними связываться невозможно» (XVI, 73).

С другой стороны, у «бестии» Сенковского Пушкин тоже не мог не вызывать раздражения. Озабоченный стилистическим и идейным единством журнальных книжек, он ощущал, что иные пушкинские произведения, которые издатель «сдуру» приобретал у поэта, не соответствуют установленному в журнале «усредненному» уровню. С точки зрения редактора, Пушкин поневоле нарушал «правила» литературного языка, которые были приняты в «Библиотеке для чтения». То есть — нарушал «норму».

Если соотнести свидетельство Бурнашева со списком пушкинских стихов, опубликованных в «Библиотеке...», то, скорее всего, Сенковский собрался «перекинуть несколько слов» именно о переводах баллад Мицкевича. Во-первых, редактор в данном случае выступал «на правах поляка» (носителя языка источника). Во-вторых, он едва ли появился бы на «четверге» у Греча позднее начала 1834 г.: уже со второй половины этого года его отношения с Булгариным и Гречем были безнадежно испорчены.

Но «интимный разговор» автора и редактора по поводу «Будрыса...», как мы видели, никак не мог быть таким, каким сам Сенковский позднее — через несколько месяцев после гибели Пушкина — попытался представить в своем фельетоне!.. Барон Брамбеус (точнее, «отец Паисий») «вспомнил» эту беседу, что называется, «с точностью до наоборот». Пушкин должен был «отстаивать» — и, в конечном счете, отстоял — «полячку младую».

Поэтому-то в общих рассуждениях Барона Брамбеуса Пушкин хотя и выставлен «истинным реформатором» русского литературного языка — но таким «непоследовательным» реформатором...

В. А. Кошелев